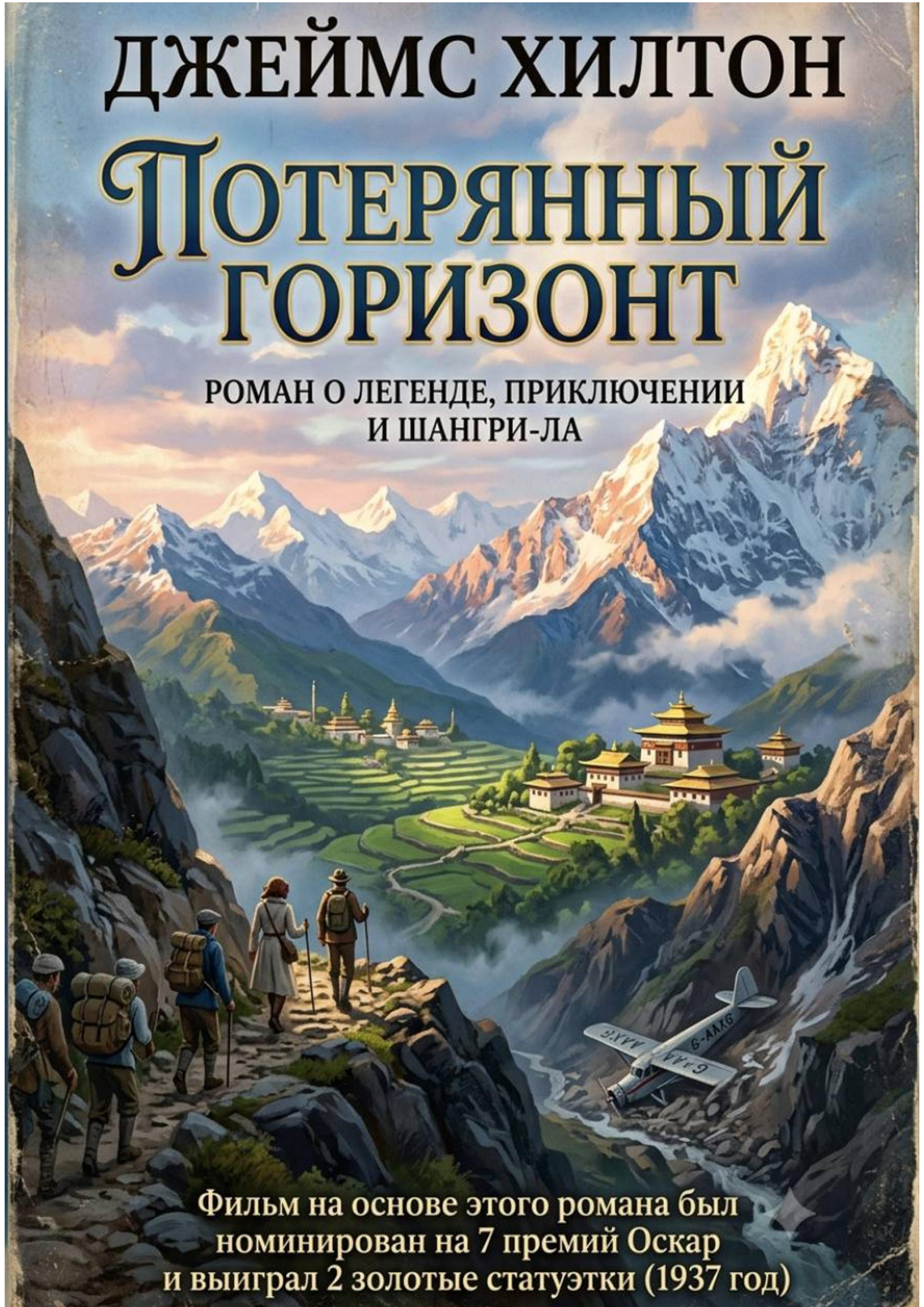


ДЖЕЙМС ХИЛТОН

ПОТЕРЯННЫЙ ГОРИЗОНТ

РОМАН О ЛЕГЕНДЕ, ПРИКЛЮЧЕНИИ
И ШАНГРИ-ЛА



Фильм на основе этого романа был
номинарован на 7 премий Оскар
и выиграл 2 золотые статуэтки (1937 год)

Оскароносные книги

Джеймс Хилтон

Потерянный горизонт

«Автор»

2026

Хилтон Д.

Потерянный горизонт / Д. Хилтон — «Автор»,
2026 — (Оскароносные книги)

«Потерянный горизонт» — приключенческий роман Джеймса Хилтона (1933), подаривший миру слово «Шангри-Ла» как символ земного рая. Четверо пассажиров угнанного самолёта — британский дипломат Хью Конвей, его молодой помощник, американский делец и миссионерка — терпят крушение высоко в тибетских горах и находят приют в загадочном ламаистском монастыре, затерянном в укрытой от всего мира долине. Здесь время течёт иначе, люди живут веками, а стены хранят сокровища цивилизации на случай будущих войн. Но чем дольше герои остаются в этом безмятежном раю, тем труднее решить: бежать или остаться навсегда? Роман сразу стал мировым бестселлером и уже в 1937 году был экранизирован Фрэнком Капррой — фильм получил семь номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм», и завоевал две золотые статуэтки. Мистика Востока, сказочная легенда, философия времени и вечный вопрос о цене земного рая — «Потерянный горизонт» остаётся одной из самых пленительных утопий XX века.

© Хилтон Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ОБ АВТОРЕ	5
Пролог	6
Глава 1	15
Глава 2	23
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Джеймс Хилтон

Потерянный горизонт

ОБ АВТОРЕ

Джеймс Хилтон родился 9 сентября 1900 года в городке Ли, графство Ланкашир, в семье школьного директора. Учился в Кембридже, в Крайст-колледже, где ещё студентом опубликовал свой первый роман. После университета несколько лет работал журналистом и писал книги, не приносившие ему ни известности, ни денег.

Слава пришла к нему почти одновременно и с двух сторон. В 1933 году вышел роман «Потерянный горизонт» — история о гималайской утопии Шангри-Ла, — а год спустя повесть «Прощай, мистер Чипс», растроганный портрет старого школьного учителя. Обе книги, написанные Хилтоном в скромном лондонском доме в Вудфорд-Грине (тот самый адрес стоит в конце этого романа), сделали его всемирно известным писателем буквально за один год.

В 1941 году вышел «Случайный урожай» — роман об амнезии и утраченной любви, ставший столь же популярным. К концу 1930-х Хилтон переехал в Голливуд, где писал и переписывал сценарии для кино; за сценарий фильма «Миссис Минивер» (1942) он получил премию «Оскар». Всего Хилтон написал четырнадцать романов, последний из них — «Время и снова время» — вышел в 1953 году.

Джеймс Хилтон умер 20 декабря 1954 года в Лонг-Бич, штат Калифорния, в возрасте 54 лет. Слово «Шангри-Ла», которое он выдумал для этой книги, давно отделилось от романа и живёт в языке как имя нарицательное для всякого недостижимого земного рая.

Пролог

Сигары почти догорели, и мы начали испытывать то разочарование, которое обычно одолевает старых школьных друзей, встретившихся в зрелом возрасте и обнаруживших, что у них гораздо меньше общего, чем они полагали. Резерфорд писал романы; Уайланд был одним из секретарей посольства; он только что устроил для нас ужин в «Темпельхофе» — не очень-то весело, как мне показалось, но с тем хладнокровием, которое дипломат всегда должен держать наготове для подобных случаев. Казалось, что нас могло свести вместе лишь то, что мы — трое неженатых англичан в иностранной столице, и я уже пришёл к выводу, что та лёгкая напыщённость, которую я помнил в Уайланде Тertiuse, не уменьшилась с годами и получением титула кавалера Королевского Викторианского ордена (M.V.O.) Резерфорд мне нравился больше; он хорошо созрел, превратившись из того тощего, преждевременно взрослого ребёнка, которого я когда-то то издевался, то опекал. Вероятность того, что он зарабатывал гораздо больше денег и вел гораздо более интересную жизнь, чем любой из нас, вызвала у Уайланда и у меня единственное общее чувство — легкую зависть.

Вечер, однако, был далеко не скучным. У нас открывался отличный вид на большие самолеты «Люфтганзы», прилетавшие на аэродром со всех уголков Центральной Европы, а к сумеркам, когда зажглись огни на взлётно-посадочной полосе, сцена обрела насыщенное, театральное сияние. Один из самолетов был английским, и его пилот, в полной летной экипировке, прошелся мимо нашего стола и поприветствовал Уайланда, который сначала его не узнал. Когда Уайланд его узнал, все представились друг другу, и незнакомца пригласили присоединиться к нам. Это был приятный, веселый молодой человек по имени Сандерс. Уайланд сделал какое-то извиняющееся замечание о том, как трудно узнавать людей, когда все они одеты в куртки «Сибли» и летные шлемы; на что Сандерс рассмеялся и ответил: «О, нет, я это хорошо знаю. Не забывайте, что я был в Баскуле». Уайланд тоже рассмеялся, но не так искренне, и разговор затем перешел на другие темы.

Сандерс стал приятным пополнением нашей небольшой компании, и мы все вместе выпили немало пива. Около десяти часов Уайланд на минуту отошел от нас, чтобы поговорить с кем-то за соседним столом, и Резерфорд, воспользовавшись внезапной паузой в разговоре, заметил: «О, кстати, ты только что упомянул Баскул. Я немного знаком с этим местом. О чём именно ты говорил, что там произошло?»

Сандерс довольно застенчиво улыбнулся. «О, просто небольшой казус, который с нами однажды произошёл, когда я служил в армии». Но он был молодым человеком, который не мог долго сдерживаться от откровенности. «Дело в том, что какой-то афганец, африди или кто-то ещё угнал один из наших самолётов, и потом пришлось несладко, как вы можете себе представить. Самое наглое дело, о котором я когда-либо слышал. Этот негодяй подстерег пилота, вырубил его, стащил его снаряжение и забрался в кабину, так что никто его даже не заметил. Ещё и механикам подал нужные сигналы, и взлетел в прекрасном стиле. Проблема была в том, что он так и не вернулся».

Резерфорд заинтересовался. «Когда это произошло?»

«О... должно быть, около года назад. В мае тридцать первого года. Мы эвакуировали гражданских из Баскула в Пешавар из-за революции — возможно, вы помните эту историю. Там царил некий переполох, иначе, по-моему, такого бы не могло случиться. Тем не менее это **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** произошло — и это в некоторой степени доказывает, что одежда делает человека, не так ли?»

Резерфорд по-прежнему проявлял интерес. «Я бы подумал, что в такой ситуации за самолёт отвечал бы не один человек?»

«Так и было на всех обычных военно-транспортных самолётах, но эта машина была особенной, изначально построенной для какого-то махараджи — довольно экстремальная штука. Сотрудники Индийской геодезической службы использовали её для высотных полётов в Кашмире».

«И вы говорите, что он так и не долетел до Пешавара?»

«Никогда не долетел туда и нигде больше не приземлился, насколько нам удалось выяснить. Вот в чём заключалась вся странность этого дела. Конечно, если тот парень был представителем племени, он мог устремиться в горы, рассчитывая удержать пассажиров ради выкупа. Полагаю, они все каким-то образом погибли».

На границе масса мест, где можно разбиться, и о тебе потом никто не услышит».

«Да, я знаю такую местность. Сколько там было пассажиров?»

«Четверо, по-моему. Трое мужчин и какая-то женщина-миссионерша».

«А один из мужчин, случайно, не звали Конвей?»

Сандерс удивлённо посмотрел на него. «Да, на самом деле. „Глори“ Конвей — вы его знали?»

«Мы с ним учились в одной школе», — сказал Резерфорд, слегка смущаясь, ведь это было чистой правдой, но он понимал, что такая ремарка ему не к лицу.

«По всем рассказам о том, что он вытворял в Баскуле, он был просто отличным парнем», — продолжил Сандерс.

Резерфорд кивнул. «Да, несомненно... но как необычно... необычно...» Он будто собрался с мыслями после минутного отвлечения. Затем он сказал: «Об этом никогда не писали в газетах, иначе, думаю, я бы прочитал об этом. Как так?»

Сандерс вдруг выглядел довольно неловко и, как мне показалось, даже был на грани того, чтобы покраснеть. «По правде говоря, — ответил он, — кажется, я проболтался больше, чем следовало».

Или, может, теперь это уже не имеет значения — это, наверное, уже старая новость в любой столовой, не говоря уже о рынках.

Это замяли, понимаете — я имею в виду, то, как всё произошло. Звучало бы не очень хорошо. Представители правительства просто сообщили, что пропал один из их самолётов, и назвали имена. Такого рода вещи не привлекают особого внимания со стороны посторонних».

В этот момент к нам вернулся Уайланд, и Сандерс повернулся к нему с полуизвиняющимся видом. «Слушай, Уайланд, эти ребята говорили о «Глори» Конвей. Боюсь, я проболтался о баскульской истории — надеюсь, ты не считаешь, что это имеет значение?»

Уайланд на мгновение строго замолчал. Было очевидно, что он пытался найти баланс между соотечественнической вежливостью и должностной честностью. «Не могу отделаться от ощущения, — сказал он наконец, — что жаль превращать это в простой анекдот. Я всегда думал, что вас, ребята, воспитывают в духе чести не разглашать секреты». Таким образом отрезав молодого человека, он обратился, уже несколько вежливее, к Резерфорду. «Конечно, в вашем случае всё в порядке, но я уверен, вы понимаете, что иногда событиям на границе необходимо оставаться окутанными небольшой тайной».

«С другой стороны, — сухо ответил Резерфорд, — у человека возникает странное желание узнать правду».

«Это никогда не скрывалось от тех, у кого были веские причины хотеть это знать. Я в то время был в Пешаваре, и могу вас в этом заверить. Вы хорошо знали Конвея — с школьных лет, я имею в виду?»

«Немного в Оксфорде и несколько случайных встреч с тех пор. А вы часто с ним сталкивались?»

«В Ангоре, когда я там служил, мы встречались раз или два».

«Он вам нравился?»

«Я считал его умным, но довольно нерадивым».

Резерфорд улыбнулся. «Он, безусловно, был умным. У него была самая яркая университетская карьера — пока не разразилась война. Член гребной команды «Блю», ведущая фигура в студенческом клубе «Юнион» и лауреат премий за то, за это и за другое — к тому же я считаю его лучшим пианистом-любителем, которого я когда-либо слышал. Удивительно многогранный парень, из тех, кого, как кажется, Джоуэтт назвал бы будущим премьер-министром. И все же, по сути, после тех оксфордских дней о нем почти ничего не слышали. Конечно, война прервала его карьеру. Он был очень молод, и, насколько я понимаю, прошел через большую часть войны».

«Его взорвало или что-то в этом роде, — ответил Уайланд, — но ничего особо серьезного. Выступил совсем неплохо, получил Орден «За выдающиеся заслуги» (D.S.O.) во Франции. Потом, по-моему, он на время вернулся в Оксфорд в качестве своего рода преподавателя. Я знаю, что в 1921 году он уехал на Восток. Благодаря знанию восточных языков он получил эту работу без каких-либо обычных предварительных испытаний. У него было несколько должностей».

Резерфорд улыбнулся ещё шире. «Тогда, конечно, это всё объясняет. История никогда не раскроет, сколько гениальности было потрачено впустую на рутинное расшифровывание бланков Министерства иностранных дел и раздачу чая на шумных вечеринках в посольстве».

«Он работал в консульской службе, а не в дипломатической», — высокомерно заметил Уайланд. Было очевидно, что ему не по душе эти шутки, и он не выразил никакого протеста, когда, после ещё нескольких шуток подобного рода, Резерфорд встал, чтобы уйти. В любом случае становилось уже поздно, и я сказал, что тоже пойду.

Поведение Уайланда, когда мы прощались, по-прежнему отличалось официальной сдержанностью, с которой он терпеливо переносил все это, но Сандерс был очень сердечен и сказал, что надеется когда-нибудь снова с нами встретиться.

Мне предстояло сесть на трансконтинентальный поезд в очень мрачное время раннего утра, и, пока мы ждали такси, Резерфорд спросил меня, не хочу ли я провести это время в его отеле. У него есть гостиная, сказал он, и мы сможем поговорить. Я ответил, что это меня вполне устроит, и он сказал: «Хорошо. Можем поговорить о Конвее, если хочешь, если, конечно, ты не совсем устал от его дел».

Я ответил, что вовсе нет, хотя и знал его едва ли. «Он уехал в конце моего первого семестра, и я больше с ним не встречался. Но однажды он проявил ко мне необычайную доброту. Я был новым учеником, и не было ни малейшей причины, по которой он должен был бы поступить так, как поступил. Это была всего лишь мелочь, но я всегда её помнил».

Резерфорд кивнул в знак согласия. «Да, он мне тоже очень нравился, хотя я тоже видел его удивительно редко, если судить по времени. «И тогда наступила несколько странная тишина, во время которой было очевидно, что мы оба думали о человеке, который значил для нас гораздо больше, чем можно было бы судить по таким случайным встречам. С тех пор я часто замечал, что другие, кто встречался с Конвеем, даже совершенно формально и на мгновение, впоследствии вспоминали его с большой яркостью. Он был безусловно, выдающимся юношей, и для меня, знавшего его в том возрасте, когда всех воспринимаешь как героев, воспоминания о нём до сих пор остаются весьма романтичными и яркими. Он был высоким и чрезвычайно красивым, и не только преуспевал в спорте, но и забирал домой все мыслимые школьные награды. Один довольно сентиментальный директор однажды назвал его подвиги «великолепными», и отсюда и возникло его прозвище. Пожалуй, только он смог бы с этим справиться. Он произнёс речь на церемонии вручения аттестатов на греческом языке, насколько я помню, и был выдающимся актёром в школьных спектаклях. В нём было что-то довольно елизаветинское — его непринуждённая многогранность, его привлекательная внешность, это бурное сочетание умственной и физической активности. Что-то в духе Филипа Сидни. Наша

цивилизация в наши дни нечасто порождает таких людей. Я высказал подобное замечание Резерфорду, и он ответил: «Да, это правда, и у нас есть специальное уничижительное слово для них — мы называем их дилетантами. Полагаю, некоторые люди наверняка называли Конвея именно так, такие люди, как, например, Уайланд. Мне не очень по душе Уайланд. Не выношу людей его типа — вся эта чопорность и непомерное самомнение. И этот типичный ум старшего префекта, вы заметили?»

Мелкие фразы про то, что нужно «полагаться на честь людей» и «не разглашать школьные секреты» — словно вся эта чертова Империя — пятый класс в школе Святого Доминика! Но, в общем, я всегда вступаю в конфликт с этими сахибскими дипломатами».

Мы проехали несколько кварталов в тишине, а потом он продолжил: «Тем не менее, я бы ни за что не пропустил этот вечер. Для меня это был необычный опыт — услышать, как Сандерс рассказывает ту историю о происшествии в Баскуле. Понимаете, я слышал её и раньше, но не придавал ей особого значения. Это была часть гораздо более невероятной истории, в которую я не видел никаких оснований верить, ну, разве что одно очень незначительное основание. А ТЕПЕРЬ таких оснований уже ДВА. Полагаю, вы догадываетесь, что я не особо доверчивый человек. Я провел значительную часть своей жизни в путешествиях и знаю, что в мире бывают странные вещи — если, конечно, видеть их собственными глазами, но не так часто, если слышишь о них из вторых рук. И все же...»

Он, казалось, вдруг осознал, что его слова вряд ли что-то значат для меня, и прервался со смехом. «Ну, одно можно сказать наверняка — я вряд ли стану посвящать Уайланда в свои секреты. Это было бы все равно что пытаться продать эпическую поэму журналу „Tit-Bits“. Лучше попробую счастья с вами».

«Возможно, вы мне льстите», — заметил я.

«Ваша книга не заставляет меня так думать».

Я не упоминал, что являюсь автором той довольно специализированной работы (в конце концов, не каждому по душе «специализация» невролога), и был приятно удивлен, что Резерфорд вообще о ней слышал. Я сказал об этом, и он ответил: «Ну, видите ли, мне это было интересно, потому что амнезия когда-то была проблемой Конвея».

Мы подошли к отелю, и ему нужно было забрать ключ на стойке регистрации. Пока мы поднимались на пятый этаж, он сказал: «Все это — просто хождение вокруг да около. Дело в том, что Конвей не умер. По крайней мере, несколько месяцев назад он был жив».

В тесном пространстве лифта и за время его подъема это казалось не поддающимся комментариам. В коридоре, через несколько секунд, я ответил: «Вы в этом уверены? Откуда ты знаешь?»

И он ответил, открывая дверь своей комнаты: «Потому что я путешествовал с ним из Шанхая в Гонолулу на японском лайнере в ноябре прошлого года». Он больше не произносил ни слова, пока мы не устроились в креслах и не устроили себе вечеринку с напитками и сигарами. «Понимаешь, я был в Китае осенью в отпуске. Я всегда где-то скитаюсь. Я не видел Конвея годами. Мы никогда не переписывались, и я не могу сказать, что часто думал о нем, хотя его лицо было одним из тех немногих, которые всегда без труда возникали у меня в воображении, когда я пытался его представить. Я гостил у друга в Ханкоу и возвращался на «Пекинском экспрессе». В поезде мне посчастливилось завязать разговор с очаровательной настоятельницей одного из французских монастырей милосердия. Она ехала в Чунцзян, где находился её монастырь, и, поскольку я немного знал французский, ей, похоже, доставляло удовольствие болтать со мной о своей работе и о жизни в целом. По правде говоря, я не испытываю особого сочувствия к обычной миссионерской деятельности, но готов признать, как многие в наши дни, что римляне составляют отдельную категорию, поскольку, по крайней мере, они усердно трудятся и не выставляют себя в роли офицеров в мире, полном рядовых. Впрочем, это лишь к слову. Дело в том, что эта дама, рассказывая мне о миссионерской больнице в Чунцзяне,

упомянула о пациенте с лихорадкой, которого доставили несколько недель назад — мужчине, которого они считали европейцем, хотя он не мог ничего рассказать о себе и не имел документов. Его одежда была местной и самой убогой, и когда его приняли монахини, он был очень тяжело болен. Он свободно говорил по-китайски, а также довольно хорошо по-французски, и моя попутчица заверила меня, что, пока он не понял, какой национальности монахини, он обращался к ним английским с изысканным акцентом. Я сказала, что не могу себе представить такое явление, и добродушно подшутила над ней по поводу того, что она способна распознать изысканный акцент в языке, которого не знает. Мы шутили по поводу этого и других вещей, и в конце концов она пригласила меня посетить миссию, если мне когда-нибудь придётся оказаться в тех краях. Конечно, тогда это казалось столь же маловероятным, как то, что я взойду на Эверест, и когда поезд прибыл в Чунцзян, я пожал ей руку, искренне сожалея, что наша случайная встреча подошла к концу. Однако, как ни странно, я оказался обратно в Чунцзяне уже через несколько часов. Поезд сломался милю или две дальше, и с большим трудом нас отбуксировали обратно на станцию, где мы узнали, что запасной локомотив не сможет прибыть раньше, чем через двенадцать часов. Такое часто случается на китайских железных дорогах. Так что предстояло прожить полдня в Чунцзяне — что побудило меня последовать совету этой милой дамы и заглянуть в миссию.

«Я так и поступил и получил радушный, хотя, естественно, и несколько удивлённый приём. Полагаю, одно из самых сложных для некаатолика — понять, с какой лёгкостью католик может совмещать официальную строгость с неофициальной широтой взглядов. Это слишком сложно? В любом случае, не важно, эти миссионеры оказались весьма приятными собеседниками. Не прошло и часа, как я обнаружил, что для меня приготовили обед, и молодой китайский врач-христианин сел со мной за стол и поддерживал разговор веселой смесью французского и английского. После этого он и мать-настоятельница показали мне больницу, которой они очень гордились. Я сказал им, что я писатель, и они были настолько простодушны, что пришли в восторг от мысли, что я могу описать их всех в своей книге. Мы шли мимо коек, а врач объяснял мне особенности каждого случая.

Здесь было безупречно чисто, и создавалось впечатление, что больницей управляют очень грамотно. Я уже совсем забыл о таинственном пациенте с изысканным английским акцентом, пока настоятельница не напомнила мне, что мы как раз подошли к нему. Я видел только затылок этого человека; он, по-видимому, спал. Мне посоветовали обратиться к нему по-английски, и я сказал: «Добрый день», — это было первое и не слишком оригинальное, что пришло мне в голову. Человек внезапно поднял глаза и в ответ сказал: «Добрый день». Это была правда; у него был акцент образованного человека. Но у меня не было времени удивляться этому, ведь я уже узнал его, несмотря на бороду и совершенно изменившуюся внешность, а также на то, что мы так давно не виделись. Это был Конвей. Я был уверен, что это он, и все же, если бы я остановился, чтобы об этом подумать, вполне мог бы прийти к выводу, что это невозможно. К счастью, я поступил под влиянием мгновенного порыва. Я озвался, назвав его имя и своё, и хотя он посмотрел на меня без каких-либо явных признаков узнавания, я был уверен, что не ошибся. На его лице промелькнуло странное небольшое подергивание лицевых мышц, которое я замечал у него и раньше, и у него были те же глаза, о которых в Баллиоле мы привыкли говорить, что они гораздо больше похожи на кембриджский синий, чем на оксфордский. Но помимо всего прочего, это был человек, в отношении которого просто невозможно было ошибиться — увидеть его один раз означало запомнить навсегда.

Конечно, доктор и мать-настоятельница были сильно взволнованы. Я сказал им, что знаю этого человека, что он англичанин и мой друг, и что, если он меня не узнал, то это могло быть только потому, что он полностью потерял память. Они согласились, причём с некоторым удивлением, и мы долго совещались по поводу этого случая. Они не смогли выдвинуть никаких предположений о том, как Конвей вообще мог оказаться в Чунцзяне в таком состоянии.

«Короче говоря, я пробыл там больше двух недель, надеясь, что так или иначе мне удастся помочь ему вспомнить прошлое. Мне это не удалось, но он восстановил физическое здоровье, и мы много разговаривали. Когда я совершенно откровенно рассказал ему, кто я такой и кто он сам, он оказался достаточно покладистым, чтобы не спорить по этому поводу. Он был даже довольно бодр, хотя и каким-то рассеянным образом, и казался вполне довольным моей компанией. На моё предложение отвезти его домой он просто ответил, что не против. Это немного нервировало — такое кажущееся отсутствие какого-либо личного желания. Как только смог, я организовал наш отъезд. Я доверился одному знакомому из консульства в Ханкоу, и благодаря этому необходимый паспорт и прочее были оформлены без лишней суеты, которая могла бы возникнуть в противном случае. Мне действительно казалось, что ради Конвея всю эту историю лучше держать в тайне, подальше от огласки и газетных заголовков, и я рад сообщить, что мне это удалось. Конечно, для прессы это могло бы стать настоящей сенсацией.

«Ну, мы покинули Китай вполне обычным образом. Мы спустились по Янцзы до Нанкина, а затем сели на поезд до Шанхая. В ту же ночь отправлялся японский лайнер в Сан-Франциско, поэтому мы очень поспешили и успели сесть на борт».

«Вы сделали для него невероятно много», — сказал я.

Резерфорд не стал это отрицать. «Не думаю, что я сделал бы столько же для кого-то другого», — ответил он. «Но в этом парне было что-то особенное, и всегда было — это трудно объяснить, но благодаря этому было приятно делать для него всё, что в силах».

«Да», — согласился я. «У него было своеобразное очарование, какая-то привлекательность, о которой приятно вспоминать даже сейчас, когда я представляю себе эту картину, хотя, конечно, я до сих пор представляю его школьником в фланелевой форме для крикета».

«Жаль, что ты не знал его в Оксфорде. Он был просто блестящим — другого слова нет. После войны люди говорили, что он изменился. Я сам думаю, что это так. Но я не могу отделаться от ощущения, что при всём его дарах он должен был бы заниматься чем-то более значительным. Вся эта чепуха с «Британским Величеством» не соответствует моему представлению о карьере великого человека. А Конвей был — или должен был бы быть — ВЕЛИКИМ. Мы с тобой оба знали его, и я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю, что это опыт, который мы никогда не забудем. И даже когда мы с ним встретились посреди Китая, когда его разум был пуст, а прошлое оставалось загадкой, в нём всё ещё таилось это странное ядро притягательности».

Резерфорд задумчиво замолчал, а затем продолжил: «Как вы можете себе представить, мы возобновили нашу старую дружбу на корабле. Я рассказал ему всё, что знал о нём самом, а он слушал с таким вниманием, что это могло показаться даже немного нелепым. Он совершенно ясно помнил всё, начиная с момента своего прибытия в Чунцзян, и ещё один момент, который может вас заинтересовать, — это то, что он не забыл языки. Он рассказал мне, например, что понимал: у него, должно быть, было какое-то отношение к Индии, потому что он говорил на хиндустани.

«В Йокогаме корабль заполнился, и среди новых пассажиров оказался Сивекинг, пианист, отправлявшийся в концертное турне по Штатам. Он сидел за нашим столом в столовой и иногда разговаривал с Конвеем по-немецки. Это покажет вам, насколько внешне нормальным казался Конвей. Если не считать его потери памяти, которая не проявлялась в обычном общении, казалось, что с ним всё в порядке.

«Через несколько ночей после отправления из Японии Сивекинга уговорили дать фортепианный концерт на борту, и мы с Конвеем пошли его послушать. Он, конечно, играл хорошо: немного Брамса и Скарлатти, а также много Шопена. Раз или два я бросил взгляд на Конвея и решил, что ему всё это нравится, что казалось вполне естественным, учитывая его собственное музыкальное прошлое. В конце программы выступление перешло в неформальную серию бисов, которыми Сивекинг одарил — как мне показалось, весьма любезно — нескольких вос-

торженных слушателей, собравшихся вокруг рояля. И снова он играл в основном Шопена; он, знаете ли, в этом довольно специализируется. Наконец он отошел от рояля и по направился к двери, за ним по-прежнему следовали поклонники, но он явно чувствовал, что сделал для них достаточно. Тем временем начало происходить довольно странное событие. Конвей сел за клавиши и играл какую-то быструю, живую пьесу, которую я не узнал, но которое заставило Сивекинга в сильном волнении вернуться и спросить, что это за пьеса. Конвей, после долгого и довольно странного молчания, смог лишь ответить, что не знает. Сивекинг воскликнул, что это невероятно, и возбудился ещё сильнее. Тогда Конвей, по-видимому, приложил огромное физическое и умственное усилие, чтобы вспомнить, и наконец сказал, что это этюд Шопена. Я сам не считал, что это возможно, и не удивился, когда Сивекинг категорически это опроверг.

Конвей, однако, внезапно пришёл в ярость по поводу этого — что меня поразило, поскольку до этого он почти ни на что не проявлял эмоций. «Дорогой мой друг, — возразил Сивекинг, — я знаю всё, что существует из произведений Шопена, и могу заверить вас, что он никогда не писал того, что вы только что сыграли. Он вполне мог бы это сделать, потому что это полностью в его стиле, но он просто этого не делал. Я бросаю вам вызов: покажите мне партитуру в любом из изданий». На что Конвей ответил довольно долго: «О, да, теперь я вспомнил, это никогда не печаталось. Я знаю это только потому, что встретил человека, который когда-то был одним из учеников Шопена... Вот ещё одно неопубликованное произведение, о котором я узнал от него».

Резерфорд пристально посмотрел на меня, продолжая: «Не знаю, музыкант ли вы, но даже если нет, смею предположить, что вы сможете представить себе волнение Сивекинга, да и моё тоже, пока Конвей продолжал играть. Для меня, конечно, это был внезапный и весьма загадочный взгляд в его прошлое — первая какая-либо зацепка, которая до сих пор ускользала. Сивекинг был естественно поглощён музыкальной задачей, которая и без того была достаточно озадачивающей, как вы поймёте, когда я напому вам, что Шопен умер в 1849 году.

«Весь этот инцидент был в некотором смысле настолько непостижим, что, пожалуй, я должен добавить: его свидетелями были по крайней мере дюжина человек, включая профессора одного из калифорнийских университетов, пользующегося известной репутацией. Конечно, было легко сказать, что объяснение Конвея было хронологически невозможным или почти невозможным; но оставалась сама музыка, которую нужно было объяснить. Если это было не то, чем её назвал Конвей, то что же это БЫЛО? Сивекинг заверил меня, что если бы эти два произведения были опубликованы, то в течение шести месяцев они вошли бы в репертуар каждого виртуоза. Даже если это преувеличение, оно показывает, как Сивекинг их оценивал. После долгих споров в то время мы не смогли прийти к какому-либо решению, поскольку Конвей оставался при своём, а так как он начинал выглядеть уставшим, я очень хотел увести его подальше от толпы и отправить спать. Последний эпизод был связан с записью нескольких фонографических пластинок. Сивекинг сказал, что уладит все формальности, как только прибудет в Америку, а Конвей пообещал сыграть перед микрофоном. Я часто думаю, что с любой точки зрения было очень жаль, что он не смог сдержать свое слово».

Резерфорд взглянул на часы и заверил меня, что у меня будет достаточно времени, чтобы успеть на поезд, поскольку его рассказ практически подошел к концу. «Потому что той ночью — ночью после концерта — к нему вернулась память. Мы оба уже легли спать, и я лежал без сна, когда он зашел в мою каюту и рассказал мне об этом. Его лицо застыло в выражении, которое я могу описать лишь как выражение всепоглощающей печали — своего рода всеобщей печали, если вы понимаете, о чём я — чего-то отдалённого или безличного, «Вехмут» или «Вельтшмерц», или как там это называют немцы.

Он сказал, что может вспомнить всё, что воспоминания начали возвращаться к нему во время игры Сивекинга, хотя сначала лишь отрывочно. Он долго сидел на краю моей кровати, и я дал ему возможность не торопиться и сам выбрать, как он хочет мне это рассказать. Я ска-

зал, что рад, что к нему вернулась память, но сожалею, если он уже жалеет об этом. Тогда он поднял глаза и сделал мне то, что я всегда буду считать чудесным комплиментом. «Слава Богу, Резерфорд, — сказал он, — ты способен воображать вещи». Через некоторое время я оделся и уговорил его сделать то же самое, и мы стали ходить взад-вперед по палубе. Была спокойная ночь, звёздная и очень тёплая, а море имело бледный, вязкий вид, словно стущённое молоко. Если бы не вибрация двигателей, мы могли бы прогуливаться по набережной. Я позволил Конвею говорить по-своему, сначала не задавая вопросов. Где-то на рассвете он начал говорить связно, и когда он закончил, уже наступило время завтрака и светило жаркое солнце. Когда я говорю «закончил», я не имею в виду, что после того первого признания ему больше нечего было мне рассказать. В течение следующих двадцати четырёх часов он заполнил немало важных пробелов. Он был очень несчастен и, наверное, не спал, так что мы разговаривали почти без перерыва. Примерно в середине следующей ночи корабль должен был прибыть в Гонолулу. Накануне вечером мы выпивали в моей каюте; он ушел от меня около десяти часов, и я больше его не видел».

«Ты же не имеешь в виду...» — у меня в голове возник образ очень спокойного, обдуманного самоубийства, которое я однажды видел на почтовом судне, идущем из Холихеда в Кингстаун.

Резерфорд рассмеялся. «О, Боже, нет — он не был из таких. Он просто ускользнул от меня. Выбраться на берег было достаточно легко, но ему, наверное, было трудно ускользнуть от преследования, когда я поручил людям искать его — что я, конечно же, и сделал. Позже я узнал, что ему удалось устроиться в экипаж бананового судна, направлявшегося на юг, на Фиджи».

«Откуда вы это узнали?»

«Совершенно просто. Через три месяца он написал мне из Бангкока, приложив вексель на покрытие расходов, которые я понес из-за него. Он поблагодарил меня и написал, что чувствует себя прекрасно. Он также упомянул, что собирается отправиться в долгое путешествие — на северо-запад. Это было всё».

«Куда он имел в виду?»

«Да, это довольно неопределённо, не так ли? К северо-западу от Бангкока находится немало мест. Даже Берлин, если на то пошло».

Резерфорд сделал паузу и наполнил мой бокал и свой собственный. Это была странная история — или же он создал такое впечатление; я с трудом мог понять, что из этого верно. Музыкальная часть этой истории, хотя и озадачивала, не интересовала меня так сильно, как тайна того, как Конвей оказался в той китайской миссионерской больнице; и я высказал эту мысль. Резерфорд ответил, что на самом деле обе эти части составляют одну и ту же проблему. «Ну, а как же он **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** оказался в Чунцзяне?» — спросил я. «Полагаю, он рассказал тебе всё об этом в ту ночь на корабле?»

«Он рассказал мне кое-что об этом, и было бы нелепо с моей стороны, после того как я рассказал тебе столько всего, скрывать остальное. Просто, во-первых, это довольно длинная история, и не хватило бы времени даже вкратце её изложить, прежде чем вам придётся уходить на поезд. А кроме того, как оказалось, есть более удобный способ. Я немного стесняюсь раскрывать хитрости своей бесчестной профессии, но правда в том, что история Конвея, как я потом обдумывал её, очень сильно меня зацепила. Сначала я делал простые заметки после наших различных бесед на корабле, чтобы не забыть подробности; позже, когда некоторые аспекты этого дела начали захватывать меня, у меня возникло желание сделать больше — соединить записанные и восстановленные из памяти фрагменты в единое повествование. Я не имею в виду, что что-то придумал или изменил.

В том, что он мне рассказал, было вполне достаточно материала: он был красноречивым собеседником и обладал природным даром передавать атмосферу. Кроме того, полагаю,

я почувствовал, что начинаю понимать самого этого человека». Он подошел к дипломатическому чемодану и достал пачку машинописных листов.

«Ну, во всяком случае, вот оно, и вы можете думать об этом, что хотите. «Полагаю, вы этим хотите сказать, что от меня не ожидают, что я в это поверю?»

«О, вряд ли это было столь категоричное предупреждение. Но имейте в виду: если вы ВСЁ-ТАКИ поверите, то это будет по знаменитой причине Тертуллиана — помните? *quia impossibile est* (лат. «ибо это невозможно»). Возможно, неплохой аргумент.

В любом случае, дайте мне знать, что вы об этом думаете».

Я забрал рукопись с собой и прочитал большую её часть в экспрессе до Остенде. Я намеревался вернуть её вместе с длинным письмом, когда доберусь до Англии, но возникли задержки, и прежде чем я успел отправить почту, я получил короткую записку от Резерфорда, в которой он сообщал, что снова отправляется в свои странствия и в течение нескольких месяцев не будет иметь постоянного адреса. Он собирался в Кашмир, писал он, а оттуда — «на восток». Я не удивился.

Глава 1

В течение той третьей недели мая обстановка в Баскуле значительно ухудшилась, и 20-го числа по предварительной договоренности из Пешавара прибыли самолеты ВВС для эвакуации белых жителей. Их число составляло около восьмидесяти человек, и большинство из них было благополучно перевезено через горы на военно-транспортных самолетах. Были задействованы также несколько других самолетов, среди которых был самолет с пассажирским салоном, предоставленный махараджей Чандрапура. Около 10 часов утра на борт этого самолета поднялись четыре пассажира: мисс Роберта Бринклоу из «Восточной миссии»; Генри Д. Барнард, американец; Хью Конвей, консул Ее Величества; и капитан Чарльз Мэллинсон, вице-консул Ее Величества.

Эти имена приведены так, как они позже появились в индийских и британских газетах.

Конвею было тридцать семь лет. Он проработал в Баскуле два года, занимаясь делом, которое теперь, в свете произошедших событий, можно было бы расценить как упорную ставку не на ту лошадку. Один этап его жизни подошел к концу; через несколько недель или, возможно, после нескольких месяцев отпуска в Англии, его отправят куда-нибудь еще. Токио или Тегеран, Манила или Маскат; люди его профессии никогда не знали, что их ждет. Он проработал в консульской службе десять лет — достаточно долго, чтобы оценивать свои собственные шансы так же проникательно, как он обычно оценивал шансы других. Он знал, что самые лакомые кусочки ему не достанутся; но было искренне утешительно — и это не просто «кислые винограды» — думать о том, что у него и не было вкуса к этим лакомым кусочкам. Он предпочитал менее формальные и более живописные должности, которые ему предлагались, и поскольку зачастую это были не самые лучшие варианты, другим, несомненно, казалось, что он разыгрывает свои карты довольно неудачно. На самом деле он считал, что разыграл их довольно удачно; у него за это десятилетие была насыщенная и в меру приятная жизнь.

Он был высоким, с глубоким загаром, с коротко стриженными каштановыми волосами и глазами цвета сланца. Он выглядел суровым и задумчивым, пока не смеялся, и тогда (хотя это случалось не так уж часто) он выглядел по-юношески. У него было легкое нервное подергивание возле левого глаза, которое обычно замечалось, когда он слишком много работал или выпивал, и поскольку он упаковывал и уничтожал документы в течение всего дня и ночи, предшествовавших эвакуации, это подергивание было очень заметно, когда он поднялся на борт самолета. Он был измотан и несказанно рад тому, что ему удалось устроиться так, чтобы его отправили на роскошном авиалайнере махараджи, а не на одном из переполненных военно-транспортных самолетов. Он с удовольствием растянулся в кресле-корзине, пока самолёт взмывал ввысь. Он был из тех людей, которые, привыкнув к серьёзным лишениям, в качестве компенсации ожидали небольших удобств. С бодростью он мог бы перенести тяготы пути в Самарканд, но из Лондона в Париж он потратил бы свою последнюю десятку на поезд «Золотая стрела».

Пролетев уже больше часа, Мэллинсон заметил, что, по его мнению, пилот не держит прямой курс. Мэллинсон сидел прямо перед ним.

Это был молодой человек лет двадцати пяти, с румяными щеками, умный, но не интеллектуал, страдающий от ограничений, присущих выпускникам частных школ, но обладающий и их достоинствами. Неудача на экзамене стала главной причиной его отправки в Баскул, где Конвей провёл с ним шесть месяцев и успел к нему привязаться.

Но Конвей не хотел прилагать усилия, которых требует разговор в самолете. Он сонно открыл глаза и ответил, что какой бы курс ни был выбран, пилот, по-видимому, знает лучше.

Через полчаса, когда усталость и гул двигателя почти убаюкали его, Мэллинсон снова потревожил его. — Слушай, Конвей, я думал, что нас пилотирует Феннер?

— Ну, а разве не он?

— Парень только что повернул голову, и я готов поклясться, что это был не он.

— Трудно сказать, сквозь эту стеклянную панель.

— Я узнал бы лицо Феннера где угодно.

— Ну, тогда это, должно быть, кто-то другой. Не вижу в этом ничего страшного.

— Но Феннер мне точно сказал, что будет пилотировать именно эту машину.

— Наверное, они передумали и дали ему один из других самолетов.

«Ну, а кто же тогда этот человек?»

«Дорогой мой, откуда мне знать? Ты же не думаешь, что я запомнил лица всех летных лейтенантов в военно-воздушных силах, правда?»

«Я знаю многих из них, во всяком случае, но этого парня я не узнаю».

«Значит, он, должно быть, принадлежит к тому меньшинству, которого ты не знаешь».

Конвей улыбнулся и добавил: «Когда мы совсем скоро прибудем в Пешавар, ты сможешь с ним познакомиться и расспросить его обо всем».

«При таком темпе мы вообще не долетим до Пешавара. Этот пилот совсем сбился с курса. И я в этом не удивлен — летит так чертовски высоко, что не видит, где находится».

Конвей не беспокоился. Он был привычен к авиаперелетам и воспринимал всё как должное. К тому же не было ничего особенного, чем он жаждал заняться по прибытии в Пешавар, и никого особого, кого он жаждал увидеть; поэтому ему было совершенно всё равно, займёт ли путь четыре часа или шесть. Он был не женат; по прибытии его не ждали нежные приветствия.

У него были друзья, и некоторые из них, вероятно, заберут его в клуб и угостят выпивкой; это была приятная перспектива, но не такая, о которой стоило бы вздыхать в предвкушении.

Он не вздыхал и оглядываясь назад, когда рассматривал столь же приятную, но не вполне удовлетворительную картину прошедшего десятилетия. Переменчивые, ясные промежутки, сменяющиеся довольно нестабильными периодами; так он сам охарактеризовал эту пору, как свою личную, так и в целом мирскую. Он вспомнил о Баскуле, Пекине, Макао и других местах — он довольно часто переезжал.

Самым отдаленным из всех был Оксфорд, где после войны он проработал пару лет преподавателем, читая лекции по истории Востока, вдыхая пыль в солнечных библиотеках, прокатываясь по Хай-стрит на велосипеде. Это видение привлекало его, но не волновало; в некотором смысле он чувствовал, что все еще оставался частью всего того, кем он мог бы стать.

Знакомое покалывание в желудке дало ему понять, что самолёт начинает снижаться. Ему захотелось подшутить над Мэллинсоном из-за его нервозности, и, возможно, он бы так и поступил, если бы молодой человек не вскочил внезапно, ударившись головой о потолок и разбудив Барнарда, американца, который дремал в своём кресле по другую сторону узкого прохода. «Боже мой!» — воскликнул Мэллинсон, заглядывая в иллюминатор. — Посмотрите вниз!

Конвей посмотрел. Вид, безусловно, не соответствовал тому, чего он ожидал, если, конечно, он вообще чего-то ожидал.

Вместо аккуратных, геометрически выстроенных казарм и более крупных прямоугольников ангаров не было видно ничего, кроме непрозрачного тумана, покрывающего огромную, выжженную солнцем пустошь.

Самолет, хотя и быстро снижался, все еще находился на высоте, необычной для обычного полета. Длинные, изрезанные горные хребты можно было разглядеть, возможно, на милю или около того ближе, чем более туманное пятно долин. Это был типичный пограничный пейзаж, хотя Конвей никогда раньше не видел его с такой высоты. Кроме того, что показалось ему странным, это место ни в коем случае не могло находиться где-то рядом с Пешаваром. «Я не узнаю эту часть мира», — заметил он. Затем, потише, чтобы не пугать остальных, он добавил, наклонившись к уху Мэллинсона: «Похоже, ты прав. Этот человек заблудился».

Самолет пикировал вниз с огромной скоростью, и по мере снижения воздух становился все жарче; выжженная земля внизу напоминала печь, дверцу которой внезапно открыли. Одна горная вершина за другой возвышалась над горизонтом скалистыми силуэтами; теперь самолёт летел вдоль извилистой долины, дно которой было усыпано камнями и обломками пересохших русел. Это похоже было на пол, усыпанный ореховыми скорлупами. Самолёт тряся и подбрасывало в воздушных ямах так же неудобно, как гребную лодку на волнах. Всем четырём пассажирам пришлось крепко держаться за сиденья.

— Похоже, он хочет приземлиться! — хрипло крикнул американец.

— Он не может! — отрезал Мэллинсон. — Он просто сошёл бы с ума, если бы попытался! Он разбился бы, и тогда...

Но пилот всё-таки приземлился. Рядом с оврагом открылась небольшая расчищенная площадка, и, проявив немалое мастерство, он с тряской и рывками остановил самолёт. То, что произошло после этого, однако, было ещё более загадочным и менее обнадеживающим. Рой бородатых и в тюрбанах племенных жителей подошёл со всех сторон, окружив самолёт и фактически не давая никому выйти из него, кроме пилота. Последний спустился на землю и вступил с ними в оживленную беседу, в ходе которой стало ясно, что он не только не был Феннером, но и вообще не был англичанином, а, возможно, и не европейцем. Тем временем из ближайшей свалки принесли канистры с бензином и опустошили их в необычайно вместительные баки. Улыбки и пренебрежительное молчание встречали крики четырёх запертых пассажиров, а малейшая попытка выйти из самолёта вызывала угрожающее движение дюжины винтовок. Конвей, который знал немного пушту, обращался к племенникам на этом языке, как мог, но безрезультатно; а единственным ответом пилота на любые замечания, обращённые к нему на любом языке, было многозначительное размахивание револьвером. Полуденный солнечный свет, палящий на крышу салона, раскалял воздух внутри до такой степени, что пассажиры чуть не теряли сознание от жары и от напряжения, связанного с их протестами. Они были совершенно бессильны; одним из условий эвакуации было то, что они не должны иметь при себе оружия.

Когда баки наконец закрутили, через одно из окон салона передали канистру, наполненную теплой водой.

На вопросы не отвечали, хотя не создавалось впечатления, что эти люди испытывали личную враждебность. После дальнейших переговоров пилот взобрался обратно в кабину, один из патанцев неуклюже раскрутил пропеллер, и полет возобновился. Взлет в том тесном пространстве и с дополнительным грузом бензина потребовал ещё большего мастерства, чем посадка.

Самолёт поднялся высоко в туманные испарения; затем повернул на восток, словно выставляя курс. Была середина дня.

Самое необыкновенное и озадачивающее происшествие! Когда прохладный воздух освежил их, пассажиры с трудом могли поверить, что это действительно произошло; это было возмутительное событие, к которому никто не мог привести ни одного аналога или указать на какой-либо прецедент во всей бурной истории пограничья.

Это было бы действительно невероятно, если бы они сами не стали его жертвами. Вполне естественно, что за недоверием последовало сильное возмущение, а тревожные догадки появились только тогда, когда возмущение улеглось. Тогда Мэллинсон выдвинул теорию, которую, в отсутствие какой-либо другой, им было легче всего принять. Их похитили с целью получения выкупа. Сам по себе этот трюк ни в коем случае не был новым, хотя данную конкретную методику следовало считать оригинальной. Было немного утешительнее осознавать, что они не создавали совершенно новую историю; в конце концов, похищения случались и раньше, и немалое количество из них заканчивалось благополучно. Те племенники держали тебя в каком-нибудь логове в горах, пока правительство не заплатило, и тебя не освободили. С тобой обращались вполне прилично, и поскольку деньги, которые приходилось платить, не были тво-

ими собственными, всё это дело было неприятным лишь пока оно длилось. Потом, конечно, военно-воздушные силы посылали бомбардировочную эскадрилью, и у тебя оставалась одна хорошая история, которую можно было рассказывать до конца жизни. Мэллинсон изложил это предложение с легкой нервозностью; но Барнард, американец, решил отнестись к этому с явно ироничным юмором. «Ну, господа, я, пожалуй, соглашусь, что это милая идея с чьей-то стороны, но я не совсем понимаю, чем именно ваши ВВС покрыли себя славой. Вы, британцы, шутите про ограбления в Чикаго и всё такое, но я не припомню ни одного случая, когда бы грабитель улетел на одном из самолётов дяди Сэма. И, кстати, мне было бы интересно узнать, что этот парень сделал с настоящим пилотом. «Завалил его мешками с песком, готов поспорить», — зевнул он. Это был крупный, полный мужчина с суровым лицом, на котором добродушные морщины не совсем компенсировались пессимистическими мешками под глазами. Никто в Баскуле не знал о нём почти ничего, кроме того, что он приехал из Персии, где, как предполагалось, имел какое-то отношение к нефти.

Тем временем Конвей занимался весьма практическим делом. Он собрал все обрывки бумаги, которые у них были, и составлял сообщения на различных местных языках, чтобы сбрасывать их на землю через определенные промежутки времени. В такой малонаселенной местности шансы были невелики, но рискнуть стоило.

Четвертая пассажирка, мисс Бринклоу, сидела, сжав губы и выпрямив спину, почти не высказывая и не высказывая никаких жалоб. Это была маленькая женщина с довольно загорелой кожей, у которой создавалось впечатление, будто её заставили прийти на вечеринку, где происходили вещи, которые она не могла полностью одобрить.

Конвей говорил меньше, чем двое других мужчин, ведь перевод сигналов SOS на местные диалекты был умственным упражнением, требующим концентрации. Однако он отвечал на вопросы, когда его спрашивали, и осторожно согласился с теорией Мэллинсона о похищении. Он также в некоторой степени согласился с критическими замечаниями Барнарда в адрес военно-воздушных сил. «Хотя, конечно, можно понять, как это могло произойти. В такой суматохе один человек в летной форме выглядел бы совсем как другой. Никому бы не пришло в голову усомниться в добросовестности любого человека в соответствующей форме, который выглядел так, будто знает свое дело. А этот парень ДОЛЖЕН был знать — сигналы и всё такое. Совершенно очевидно также, что он умеет летать... тем не менее я согласен с вами, что это именно тот случай, из-за которого кому-то грозит неприятность. И кому-то она достанется, можете быть уверены, хотя я подозреваю, что он этого не заслуживает».

«Ну, сэр, — ответил Барнард, — я, безусловно, восхищаюсь тем, как вам удаётся видеть обе стороны вопроса. Это, без сомнения, правильный настрой, даже когда вас водят за нос».

«Американцы, — подумал Конвей, — обладают умением говорить снисходительные вещи, не оскорбляя при этом. Он терпеливо улыбнулся, но не стал продолжать разговор. Его усталость была такой, что никакая возможная опасность не могла бы её отогнать. Ближе к концу дня, когда Барнард и Мэллинсон, которые спорили, обратились к нему по какому-то вопросу, оказалось, что он заснул.

«Совершенно вымотался», — заметил Мэллинсон. «И я не удивляюсь этому после последних нескольких недель».

«Ты его друг?» — поинтересовался Барнард.

«Я работал с ним в консульстве. Мне известно, что он не ложился спать последние четыре ночи. По правде говоря, нам чертовски повезло, что он с нами в такой затруднительной ситуации. Помимо знания языков, у него есть некая манера общаться с людьми. Если кто-то и сможет вытащить нас из этой передрыги, то это будет он. Он довольно хладнокровен в большинстве случаев».

«Ну, тогда пусть поспит», — согласился Барнард.

Мисс Бринклоу высказала одно из своих редких замечаний. «Мне кажется, он ВЫГЛЯДИТ как очень храбрый человек», — сказала она.

Конвей был гораздо менее уверен в том, что тот **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** был очень храбрым человеком. Он закрыл глаза от чистой физической усталости, но на самом деле не спал. Он слышал и ощущал каждое движение самолета, а также с смешанными чувствами слушал, как Мэллинсон воспевал его достоинства. Именно тогда у него возникли сомнения: он почувствовал сдавленность в желудке — это была его собственная физическая реакция на тревожные размышления. Он не был, как хорошо знал по опыту, одним из тех людей, которые любят опасность ради самой опасности. В ней был аспект, который ему иногда доставлял удовольствие — волнение, очищающий эффект для вялых эмоций, — но он был далек от того, чтобы любить рисковать своей жизнью. Двенадцать лет назад он стал ненавидеть опасности окопной войны во Франции и несколько раз избегал смерти, отказываясь предпринимать отважные невыполнимые поступки. Даже свой Орден «За выдающиеся заслуги» (D.S.O.) он заслужил не столько физической храбростью, сколько определённой, едва отточенной техникой выносливости. А после войны, всякий раз, когда впереди таилась опасность, он встречал её с всё меньшим энтузиазмом, если только она не сулила чрезмерных дивидендов в виде острых ощущений.

Он по-прежнему держал глаза закрытыми. Его тронуло и немного озадачило то, что он услышал сказал Мэллинсон. Его судьбой в жизни было то, что его хладнокровие всегда принимали за отвагу, хотя на самом деле это было нечто гораздо более бесстрастное и гораздо менее мужественное. Все они, как ему казалось, оказались в чертовски неловком положении, и, вместо того чтобы проявлять храбрость, он испытывал прежде всего огромное отвращение к любым неприятностям, которые могли их ожидать. Например, мисс Бринклоу. Он предвидел, что при определённых обстоятельствах ему придётся действовать, исходя из предположения, что, поскольку она женщина, она имеет гораздо большее значение, чем все остальные вместе взятые, и он с отвращением думал о ситуации, в которой такое непропорциональное поведение могло бы оказаться неизбежным.

Тем не менее, когда он дал понять, что проснулся, первым делом он обратился именно к мисс Бринклоу.

Он понимал, что она не была ни молодой, ни красивой — «отрицательные достоинства», но чрезвычайно полезные в таких затруднительных ситуациях, в которых они могли вскоре оказаться. Ему было также довольно жаль её, потому что он подозревал, что ни Мэллинсон, ни американец не любили миссионеров, особенно женщин. Сам он был лишен прерассудков, но боялся, что она сочтёт его открытость менее привычным и поэтому ещё более сбивающим с толку явлением. — Похоже, мы оказались в странном положении, — сказал он, наклонившись к её уху, — но я рад, что вы относитесь к этому спокойно. Я действительно не думаю, что с нами произойдёт что-то ужасное.

— Я уверена, что этого не случится, если вы сможете этому помешать, — ответила она; что его не утешило.

— Дай мне знать, если мы можем что-нибудь сделать, чтобы тебе было уютнее.

Барнард уловил это слово. — «Уютнее?» — хрипло повторил он. — «Да, конечно, нам уютно. Мы просто наслаждаемся поездкой. Жаль, что у нас нет колоды карт — мы могли бы сыграть пару партий в бридж».

Конвей оценил дух этой реплики, хотя и не любил бридж. «Полагаю, мисс Бринклоу не играет», — сказал он, улыбаясь.

Но миссионерка резко обернулась, чтобы ответить: «Конечно, играю, и я никогда не видела в картах ничего плохого. В Библии нет ничего против них».

Все рассмеялись и, казалось, были ей благодарны за то, что она предоставила повод для веселья. Во всяком случае, подумал Конвей, она не была истеричной.

Весь день самолёт парил сквозь редкий туман верхних слоёв атмосферы, слишком высоко, чтобы можно было ясно разглядеть, что находится внизу. Иногда, с довольно большими промежутками, завеса на мгновение разрывалась, открывая зубчатый контур вершины или блеск какой-то неизвестной реки.

Направление можно было примерно определить по солнцу; оно по-прежнему находилось на востоке, с периодическими отклонениями на север; но куда именно вел этот путь, зависело от скорости движения, которую Конвей не мог оценить с какой-либо точностью. Однако казалось вероятным, что за время полёта уже было израсходовано немало бензина; хотя это, в свою очередь, зависело от неопределённых факторов.

Конвей не обладал техническими знаниями о самолётах, но был уверен, что пилот, кем бы он ни был, был настоящим экспертом. Об этом свидетельствовала та остановка в усыпанной камнями долине, а также другие случаи, произошедшие с тех пор. И Конвей не мог подавить чувство, которое всегда охватывало его в присутствии кого-либо, обладающего выдающейся и неоспоримой компетентностью. Он настолько привык к тому, что к нему обращались за помощью, что само осознание того, что рядом есть человек, который ни о чем не просит и не нуждается в помощи, немного успокаивало его, даже на фоне все более запутанных перспектив будущего.

Но он не ожидал, что его товарищи разделят столь неуловимое чувство. Он понимал, что у них, вероятно, гораздо больше личных поводов для беспокойства, чем у него самого. Мэллинсон, например, был помолвлен с девушкой в Англии; Барнард, возможно, был женат; у мисс Бринклоу была своя работа, призвание или как бы она это ни называла. Кстати, Мэллинсон был, безусловно, самым беспокойным; по мере того как проходили часы, он становился всё более возбудимым — и, кроме того, склонен был высказывать Конвею в лицо недовольство тем самым хладнокровием, которое он хвалил за его спиной. Однажды, перекрывая рев двигателя, разразилась ожесточённая ссора. — Послушайте, — сердито крикнул Мэллинсон, — разве мы обязаны сидеть здесь, теребя пальцами, пока этот маньяк делает всё, что ему, чёрт возьми, вздумается? Что мешает нам разбить эту панель и разобраться с ним?

— Ничего, — ответил Конвей, — кроме того, что он вооружен, а мы нет, и что в любом случае никто из нас не знает, как потом посадить машину на землю.

— Это же не может быть так уж сложно. Уверен, ты бы справился.

— Дорогой Мэллинсон, почему ты всегда ожидаешь, что именно Я буду творить эти чудеса?

— Ну, в любом случае, эта затея действует мне на нервы до чертиков. Разве мы не можем ЗАСТАВИТЬ этого парня спуститься?

— Как, по-твоему, это следует сделать?

Мэллинсон становился всё более и более взволнованным. «Ну, он же ТАМ, разве не так? Примерно в шести футах от нас, а нас трое против одного! Разве мы должны всё время пялиться на его проклятую спину?»

По крайней мере, мы могли бы заставить его рассказать нам, в чём тут дело».

«Хорошо, посмотрим». Конвей сделал несколько шагов вперед к перегородке между салоном и кабиной пилота, которая находилась спереди и немного выше. Там была стеклянная панель размером примерно шесть дюймов в квадрате, открывающаяся сбоку, через которую пилот, повернув голову и слегка наклонившись, мог общаться с пассажирами. Конвей постукивал по ней костяшками пальцев. Ответ оказался почти комично предсказуемым. Стеклянная панель сдвинулась вбок, и из-за неё высунулся ствол револьвера. Ни слова — только это. Конвей отступил, не вступая в споры, и панель снова задвинулась на место.

Мэллинсон, наблюдавший за этим инцидентом, был удовлетворён лишь отчасти. «Не думаю, что он осмелился бы стрелять, — заметил он. — Скорее всего, это блеф».

— Совершенно верно, — согласился Конвей, — но я предпочёл бы оставить это вам, чтобы вы убедились сами.

— Ну, я всё же считаю, что мы должны как-то сопротивляться, прежде чем так безропотно сдаваться.

Конвей с пониманием отнесся к этому. Он осознавал существование этого стереотипа — со всеми его ассоциациями с солдатами в красных мундирах и школьными учебниками истории — что англичане ничего не боятся, никогда не сдаются и никогда не терпят поражения. Он сказал: «Вступать в бой без реальных шансов на победу — плохая идея, и я не из таких героев».

«Молодец, сэр», — искренне вставил Барнард. «Когда кто-то держит вас за горло, лучше с достоинством сдаться и признать это. Что касается меня, я собираюсь наслаждаться жизнью, пока она длится, и выкурить сигару.

Надеюсь, вы не думаете, что немного дополнительной опасности для нас имеет значение?»

«Что касается меня, то нет, но это может беспокоить мисс Бринклоу».

Барнард поспешил заглазить свою вину. «Простите, мадам, но вы не против, если я покурю?»

«Совершенно нет», — любезно ответила она. «Я сама не курю, но просто обожаю запах сигары».

Конвей почувствовал, что из всех женщин, которые могли бы сказать такое, она была безусловно самой типичной. Во всяком случае, волнение Мэллинсона немного улеглось, и, чтобы проявить дружелюбие, он предложил ему сигарету, хотя сам не зажигал. «Я понимаю, как вы себя чувствуете», — мягко сказал он. «Перспектива плохая, и в некотором смысле она тем хуже, что мы мало что можем с этим поделать».

«А в другом смысле — тем лучше», — невольно добавил он про себя. Ведь он по-прежнему испытывал огромную усталость. В его характере была также черта, которую некоторые люди могли бы назвать ленью, хотя это было не совсем так. Никто не мог работать усерднее, когда это было необходимо, и немногие могли лучше брать на себя ответственность; но факт оставался фактом: он не испытывал страстной любви к активной деятельности и совершенно не получал удовольствия от ответственности. И то, и другое входило в его обязанности, и он справлялся с ними как мог, но всегда был готов уступить место любому другому, кто мог бы справиться не хуже или даже лучше. Несомненно, отчасти именно это сделало его успех на службе менее впечатляющим, чем он мог бы быть. Он не был достаточно амбициозен, чтобы пробиваться мимо других или устраивать громкую демонстрацию бездействия, когда действительно нечего было делать. Его донесения порой были лаконичны до резкости, а его хладнокровие в чрезвычайных ситуациях, хотя и вызывало восхищение, часто вызывало подозрения в излишней искренности. Власть любит чувствовать, что человек прилагает к себе определенные усилия, и что его кажущаяся небрежность — лишь маскировка, скрывающая набор благовоспитанных эмоций. В отношении Конвея иногда циркулировало мрачное подозрение, что он на самом деле был так же невозмутим, как и выглядел, и что, что бы ни случилось, ему было наплевать. Но и это, как и лень, было неверным толкованием. То, чего большинство наблюдателей не замечало в нём, было чем-то совершенно озадачивающе простым — любовью к тишине, созерцанию и одиночеству.

Теперь, поскольку у него было такое настроение и больше нечем было заняться, он откинулся в плетеном кресле и окончательно заснул. Проснувшись, он заметил, что остальные, несмотря на свои разнообразные тревоги, тоже поддались сну. Мисс Бринклоу сидела, выпрямившись, с закрытыми глазами, словно какой-то довольно убогий и устаревший идол; Мэллинсон развалился на своем месте, подперев подбородок ладонью. Американец даже храпел. «Очень разумно с их стороны, — подумал Конвей; — нет смысла изнурять себя криками».

Но сразу же он почувствовал в себе определённые физические ощущения: лёгкое головокружение, сильное сердцебиение и склонность вдыхать воздух резко и с усилием. Он вспомнил подобные симптомы, которые у него уже однажды были — в Швейцарских Альпах.

Затем он повернулся к окну и устремил взгляд наружу. Небо вокруг полностью прояснилось, и в свете позднего дня к нему пришло видение, которое на мгновение вырвало оставшийся в легких воздух. Вдали, на самом краю видимости, простирались цепь за цепью снежных вершин, увенчанных ледниками и, казалось, парящих над обширными просторами облаков.

Они охватывали всю дугу круга, сливаясь на западе с горизонтом, который был яростным, почти кричащим по цветовой гамме, словно импрессионистский фон, созданный каким-то полубезумным гением. А тем временем самолёт, на этой грандиозной сцене, гудел над бездной у подножия отвесной белой стены, которая казалась частью самого неба, пока солнце не осветило её. Затем, словно дюжина нагромождённых друг на друга Юнгфрау, видимых из Мюррена, она вспыхнула великолепным и ослепительным сиянием.

Конвей не был из тех, кого легко впечатлить, и, как правило, он не придавал значения «видам», особенно тем более известным, для которых заботливые муниципалитеты устанавливают садовые скамейки.

Однажды, когда его отвезли на Тигер-Хилл, недалеко от Дарджилинга, чтобы посмотреть на восход солнца над Эверестом, он счел самую высокую гору в мире явным разочарованием. Но это устрашающее зрелище за стеклом иллюминатора было совсем другого калибра; в нем не было и намека на то, что оно выставляется напоказ для восхищения. В этих бескомпромиссных ледяных утесах было что-то суровое и чудовищное, и определённая возвышенная дерзость в том, чтобы приближаться к ним таким образом. Он погрузился в раздумья, представляя себе карты, вычисляя расстояния, оценивая время и скорость. Затем он заметил, что Мэллинсон тоже проснулся. Он коснулся молодого человека по руке.

Глава 2

Для Конвея было характерно, что он позволил остальным проснуться самим и почти не отреагировал на их восклицания удивления; однако позже, когда Барнард поинтересовался его мнением, он высказался с той же беспристрастной беглостью, с какой университетский профессор разясняет какую-то проблему.

Он считал вероятным, сказал он, что они все еще находятся в Индии; они летели на восток уже несколько часов, слишком высоко, чтобы что-то разглядеть, но, вероятно, курс пролегал вдоль какой-то речной долины, простирающейся примерно с востока на запад.

«Хотелось бы не полагаться на память, но у меня сложилось впечатление, что долина верховьев Инда вполне подходит. Это привело бы нас к настоящему моменту в очень живописную часть мира, и, как видите, так и вышло».

«Значит, вы знаете, где мы находимся?» — перебил его Барнард.

«Ну, нет — я никогда раньше не бывал где-то поблизости, но не удивился бы, если бы эта гора оказалась Нанга-Парбатом, той самой, на которой погиб Маммери. По строению и общему рельефу она кажется вполне соответствующей всему, что я слышал о ней».

«Вы сами альпинист?»

«В молодости я увлекался этим. Конечно, только обычные швейцарские восхождения».

Мэллинсон раздражённо встрял: «Было бы разумнее обсудить, куда мы направляемся.

Боже мой, как бы я хотел, чтобы кто-нибудь нам это сказал».

«Ну, мне кажется, что мы направляемся к тому хребту вон там», — сказал Барнард. «Вы не согласны, Конвей? Простите, что обращаюсь к вам так, но раз мы все собираемся вместе отправиться в небольшое приключение, то не стоит соблюдать формальности».

Конвей считал вполне естественным, что кто-то обращается к нему по имени, и счел извинения Барнарда за это немного излишними. «О, конечно», — согласился он и добавил: «Я думаю, что этот горный хребет — это Каракорам. Там есть несколько перевалов, если наш человек намерен их пересечь».

«Наш человек?» — воскликнул Мэллинсон. «Ты имеешь в виду нашего сумасшедшего! По-моему, пора отказаться от теории о похищении. Мы уже давно миновали приграничные земли, здесь нет никаких племен, живущих в этих краях. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, — это то, что парень — безумный маньяк. Разве кто-нибудь, кроме сумасшедшего, полетел бы в такую местность?»

«Я знаю, что никто, кроме чертовски хорошего летчика, не СМОГ бы этого сделать», — отпаривал Барнард. «Я никогда не был силен в географии, но, насколько я понимаю, эти горы считаются самыми высокими в мире, и если это так, то пересечь их будет настоящим подвигом».

«И также воля Божья», — неожиданно вставила мисс Бринклоу.

Конвей не высказал своего мнения. Воля Бога или безумие человека — ему казалось, что можно выбрать что угодно, если нужна достаточно веская причина для большинства вещей. Или, в качестве альтернативы (и он подумал об этом, созерцая небольшую упорядоченность салона на фоне такого неистового природного пейзажа за окном), воля человека и безумие Бога. Должно быть, приятно быть совершенно уверенным, с какой стороны на это смотреть. Затем, пока он наблюдал и размышлял, произошла странная перемена. Свет над всей горой приобрел голубоватый оттенок, а нижние склоны потемнели до фиолетового. В нём пробудилось нечто более глубокое, чем его обычная отстранённость — не совсем волнение, тем более не страх, а острая напряжённость ожидания. Он сказал: «Ты совершенно прав, Барнард, это дело становится всё более и более необычным».

«Необычное это или нет, я не склонен предлагать выразить благодарность за это», — настаивал Мэллинсон. «Мы не просили, чтобы нас привезли сюда, и одному Богу известно, что мы будем делать, когда окажемся ТАМ, где бы ТАМ ни было. И я не вижу, почему это должно быть меньшим возмущением только потому, что этот парень, как оказалось, — каскадёр. Даже если он и каскадёр, он может быть таким же сумасшедшим. Я как-то слышал о пилоте, сошедшем с ума в полёте. А этот парень, наверное, был сумасшедшим с самого начала. Вот моя теория, Конвей».

Конвей промолчал. Ему надоело постоянно перебивать рев машины, да и в конце концов, спорить о различных возможностях было бессмысленно. Но когда Мэллинсон настоял на том, чтобы он высказал своё мнение, он сказал: «Очень хорошо организованное безумие, знаешь ли. Не забывай о посадке для дозаправки, а также о том, что это была единственная машина, способная подняться на такую высоту».

«Это не доказывает, что он не сумасшедший. Возможно, он был достаточно сумасшедшим, чтобы всё спланировать».

«Да, конечно, это возможно».

«Что ж, тогда нам нужно определиться с планом действий. Что мы будем делать, когда он приземлится? Если, конечно, он не разбьется и не убьёт нас всех. Что мы будем делать? Устремимся к нему и поздравим его с чудесным полетом, полагаю».

«Ни за что на свете», — ответил Барнард. «Оставлю тебе право устремляться к нему».

Конвей снова не хотел затягивать спор, тем более что американец со своим хладнокровным подшучиванием, казалось, вполне способен справиться с этим сам. Конвей уже заметил, что состав группы мог бы быть гораздо менее удачным. Только Мэллинсон был склонен к ворчливости, и это могло отчасти объясняться высотой над уровнем моря.

Разреженный воздух по-разному действовал на людей; Конвей, например, испытывал от него сочетание умственной ясности и физической апатии, которое было не неприятно. Более того, он вдыхал чистый холодный воздух, испытывая при этом небольшие приступы удовольствия. Вся ситуация, без сомнения, была ужасающей, но в тот момент он не был в силах возмущаться чем-либо, что происходило так целенаправленно и с таким захватывающим интересом.

И, глядя на эту великолепную гору, его также охватило чувство удовлетворения от того, что на Земле ещё оставались такие места — отдалённые, недоступные, пока нетронутые человеком. Ледяной вал Каракорума теперь вырисовывался ярче, чем когда-либо, на фоне северного неба, которое приняло мышинный оттенок и стало зловещим; вершины имели холодный блеск; совершенно величественные и отдалённые, даже их безымянность излучала достоинство. Те несколько тысяч футов, на которые они уступали известным гигантам, могли навсегда избавить их от альпинистских экспедиций; они представляли собой менее заманчивую приманку для рекорсменов. Конвей был полной противоположностью такого типа; он склонен был видеть вульгарность в западном идеале превосходных степеней, и лозунг «максимум для вершин»

казался ему менее разумным и, возможно, более банальным утверждением, чем «многое для высоты». » На самом деле он не придавал значения чрезмерному стремлению, и его утомляли простые подвиги.

Пока он ещё созерцал эту сцену, наступили сумерки, окутав глубины насыщенной, бархатной тьмой, которая распространялась вверх, словно краска. Затем весь горный хребет, теперь уже гораздо ближе, побледнел, обретая новое великолепие; взошла полная луна, поочерёдно касаясь каждой вершины, словно некий небесный фонарик, пока длинный горизонт не заблестел на фоне сине-чёрного неба. Воздух стал холодным, и поднялся ветер, неприятно тряся аппарат. Эти новые невзгоды угнетали настроение пассажиров; не предполагалось, что

полет сможет продолжаться после наступления сумерек, и теперь последняя надежда заключалась в том, что бензин закончится. Однако это должно было произойти в скором времени.

Мэллинсон начал спорить по этому поводу, и Конвей, с некоторой неохотой — ведь он на самом деле не знал — высказал предположение, что максимальное расстояние может составлять до тысячи миль, из которых они, должно быть, уже преодолели большую часть. «Ну, и куда это нас приведет?» — с тоской спросил юноша.

«Трудно сказать, но, вероятно, в какой-то части Тибета. Если это Каракорум, то Тибет находится за ним. Кстати, один из этих гребней, должно быть, — это К2, которую обычно считают второй по высоте горой в мире».

«Следующая в списке после Эвереста», — заметил Барнард. «Боже, какие пейзажи!»

«А с точки зрения альпиниста — гораздо сложнее, чем Эверест. Герцог Абрुцци счел её абсолютно непреодолимой вершиной».

«О, БОЖЕ!» — раздражённо пробормотал Мэллинсон, но Барнард рассмеялся. «Похоже, ты и есть официальный гид в этой поездке, Конвей, и я признаю: если бы у меня под рукой был глоток коньяка из кафе, мне бы было всё равно, Тибет это или Теннесси».

«Но что мы собираемся с этим делать?» — снова настаивал Мэллинсон. «Зачем мы здесь? В чём может быть смысл всего этого? Не понимаю, как ты можешь шутить на эту тему».

«Ну, это то же самое, что устраивать из-за этого сцену, молодой человек. К тому же, если этот человек **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** сошёл с ума, как ты предположил, то, вероятно, никакого смысла и нет».

«Он **ДОЛЖЕН** быть сумасшедшим. Я не могу придумать никакого другого объяснения. А ты, Конвей?»

Конвей покачал головой.

Мисс Бринклоу обернулась, как будто это был антракт во время спектакля. «Поскольку вы не спрашивали моего мнения, возможно, мне не следует его высказывать», — начала она с притворной скромностью, «но я хотела бы сказать, что согласна с мистером Мэллинсоном. Я уверена, что у этого бедняги не всё в порядке с головой. Я имею в виду пилота, конечно. В любом случае, если бы он не был сумасшедшим, ему не было бы никакого оправдания». Она добавила, доверительно перекрикивая шум: «И знаете, это мой первый полет! Совершенно первый! Раньше ни за что бы меня на это не заставили, хотя одна моя подруга изо всех сил пыталась убедить меня полететь из Лондона в Париж».

«А теперь вы вместо этого летите из Индии в Тибет», — сказал Барнард. «Вот так и случается».

Она продолжила: «Я когда-то знала одного миссионера, который побывал в Тибете. Он говорил, что тибетцы — очень странные люди. Они верят, что мы произошли от обезьян».

«Очень умно с их стороны».

«О, боже, нет, я не имею в виду в современном смысле. Они верят в это уже сотни лет, это всего лишь одно из их суеверий. Конечно, я сама против всего этого, и считаю, что Дарвин был гораздо хуже любого тибетца. Я опираюсь на Библию».

«Фундаменталистка, полагаю?»

Но мисс Бринклоу, похоже, не поняла этого термина. «Я раньше принадлежала к Л.М.С.,»

пронзительно воскликнула она, «но я не соглашалась с ними по поводу крещения младенцев».

Конвей продолжал считать это замечание довольно забавным ещё долго после того, как ему пришло в голову, что эти инициалы означали Лондонское миссионерское общество. Все еще представляя себе неудобства ведения богословской дискуссии на вокзале Юстон, он начал думать, что в мисс Бринклоу было что-то слегка очаровательное. Он даже задался вопросом, не мог бы он предложить ей на ночь какую-нибудь свою одежду, но в конце концов решил,

что она, вероятно, более вынослива, чем он. Поэтому он свернулся калачиком, закрыл глаза и довольно легко и спокойно заснул.

А самолет продолжал полет.

Внезапно всех разбудил резкий рывок самолёта. Голова Конвея ударилась о иллюминатор, на мгновение оглушив его; повторный рывок отбросил его, и он заплетался между двумя рядами сидений. Стало намного холоднее. Первым делом он, по инстинкту, взглянул на часы; они показывали половину второго — он, должно быть, проспал уже некоторое время. В ушах у него звучал громкий, хлопающий шум, который он сначала принял за галлюцинацию, пока не осознал, что двигатель был выключен и что самолёт мчится наперекор штормовому ветру. Затем он устался в иллюминатор и увидел, что земля совсем близко — расплывчатая и серо-улиточного цвета — проносится внизу. «Он собирается приземлиться!» — крикнул Мэллинсон; а Барнард, которого тоже отбросило с сиденья, ответил мрачным тоном: «Если ему повезет». Мисс Бринклоу, которую вся эта суматоха, казалось, беспокоила меньше всего, поправила шляпку так спокойно, словно гавань Дувра уже была видна.

Вскоре самолёт коснулся земли. Но на этот раз посадка получилась плохой — «О, Боже, чертовски плохо, ЧЕРТОВСКИ плохо!» — застонал Мэллинсон, цепляясь за сиденье в течение десяти секунд тряски и раскачивания. Раздался звук, будто что-то натянулось и лопнуло, и одна из шин взорвалась. «Все, конец», — добавил он тоном отчаянного пессимизма. «Сломан хвостовой лыжник, нам придётся остаться здесь, это точно».

Конвей, никогда не бывавший болтливым в кризисные моменты, размял затекавшие ноги и пощупал голову там, где она ударилась об иллюминатор. Синяк, ничего страшного. Он должен что-то сделать, чтобы помочь этим людям. Но он был последним из четверых, кто встал на ноги, когда самолёт остановился.

«Держись крепче», — крикнул он, когда Мэллинсон с усилием распахнул дверь кабины и приготовился прыгнуть на землю; и в этой зловещей, относительной тишине раздался ответ молодого человека: «Не нужно держаться крепче — похоже, это конец света — вокруг ни души, во всяком случае».

Через мгновение, замерзшие и дрожащие, все они осознали, что это действительно так. Не слыша ничего кроме яростных порывов ветра и собственных хрустящих шагов, они почувствовали себя во власти чего-то мрачного и жестоко-меланхоличного — настроения, которым были пропитаны и земля, и воздух. Луна, казалось, скрылась за облаками, а свет звезд освещал огромную пустоту, колыхавшуюся под порывами ветра. Даже не задумываясь и не зная ничего, можно было догадаться, что этот мрачный мир высотой с гору, и что горы, возвышающиеся над ним, — это горы на горах. Цепь гор сверкала на далёком горизонте, словно ряд собачьих зубов.

Мэллинсон, лихорадочно суетясь, уже направлялся к кабине. «Я не боюсь этого парня на земле, кем бы он ни был, — крикнул он. — Я сейчас же с ним разберусь...»

Остальные наблюдали с тревогой, загипнотизированные зрелищем такой энергии. Конвей вскочил вслед за ним, но слишком поздно, чтобы помешать осмотру. Однако через несколько секунд юноша снова опустился на землю, схватившись за руку и бормоча хриплым, отрезвленным, отрывистым голосом: «Слушай, Конвей, это странно... Мне кажется, этот парень болен или мертв, или что-то в этом роде... Я не могу вытянуть из него ни слова. Подойди и посмотри... Я, во всяком случае, забрал его револьвер».

«Лучше отдай его мне», — сказал Конвей, и, хотя он все еще был несколько ошеломлен недавним ударом по голове, он собрался с силами для действий. Из всех времен, мест и ситуаций на земле именно эта казалась ему сочетанием самых ужасных неудобств. Он с трудом поднялся в положение, из которого мог видеть, хотя и не очень хорошо, в закрытую кабину. В салоне стоял сильный запах бензина, поэтому он не рискнул зажечь спичку. Ему едва удалось разглядеть пилота, сгорбленного вперед, с головой, свисающей над органами управления. Он встряхнул его, расстегнул шлем и ослабил одежду вокруг шеи. Через мгновение он обернулся,

чтобы доложить: «Да, с ним что-то случилось. Надо его вытащить». Но посторонний наблюдатель мог бы добавить, что что-то случилось и с Конвеем. Его голос стал резче, пронзительнее; он уже не казался находящимся на грани каких-то глубоких сомнений. Время, место, холод, его усталость теперь не имели такого значения; была задача, которую просто нужно было выполнить, и более рациональная часть его личности взяла верх и готовилась к этому.

При помощи Барнарда и Мэллинсона пилота вытащили из кресла и опустили на землю. Он был без сознания, но не мёртв. Конвей не обладал особыми медицинскими знаниями, но, как и большинству людей, живших в отдалённых местах, явления болезни были ему в основном знакомы. «Возможно, сердечный приступ, вызванный большой высотой», — поставил он диагноз, наклонившись над неизвестным человеком. «Здесь, на открытом воздухе, мы мало что можем для него сделать — нет укрытия от этого адского ветра. Лучше занести его в салон, и нас самих тоже. Мы понятия не имеем, где мы находимся, и до рассвета бесполезно куда-либо двигаться».

И этот вывод, и это предложение были приняты без споров. Даже Мэллинсон согласился.

Они занесли мужчину в салон и уложили его во весь рост вдоль прохода между сиденьями. Внутри было не теплее, чем снаружи, но здесь можно было укрыться от порывов ветра. Именно этот ветер вскоре стал главной заботой всех — лейтмотивом, так сказать, всей этой печальной ночи. Это был не обычный ветер. Это был не просто сильный или холодный ветер. Это было нечто вроде неистовства, бушевавшего вокруг них, господин, топающий ногами и разражающийся гневными тирадами над собственным владением. Он кренил загруженный вагон и жестоко тряс его, и когда Конвей взглянул в окна, ему показалось, будто ветер выкручивает из звёзд осколки света.

Незнакомец лежал без движения, а Конвей, с трудом ориентируясь в полумраке и тесноте, проводил осмотр, насколько это было возможно при свете спичек. Но это мало что прояснило. «У него слабое сердце», — сказал он наконец, и тогда мисс Бринклоу, порывшись в сумочке, произвела небольшую сенсацию. «Интересно, поможет ли это бедняге», — снисходительно предложила она.

«Сама я ни капли не пью, но всегда ношу это с собой на случай несчастных случаев. А это ведь своего рода несчастный случай, не так ли?»

«Я бы сказал, что да», — мрачно ответил Конвей. Он открутил пробку, понюхал и налил немного бренди в рот мужчине. «Именно то, что ему нужно. Спасибо». Через некоторое время стало видно едва заметное движение век. Мэллинсон внезапно впал в истерику.

«Я ничего не могу с собой поделать», — воскликнул он, дико хохоча. «Мы все выглядим как кучка чертовых дураков, зажигающих спички над трупом... Да и красавец он не очень, правда? Китаец, я бы сказал, если он вообще кто-то».

«Возможно», — голос Конвея был ровным и довольно суровым. «Но он ещё не труп. Если повезёт, мы сможем привести его в чувство».

«Удача? Это будет его удача, а не наша».

«Не будь так уверен. И, во всяком случае, пока что заткнись».

В Мэллинсоне все еще оставалось достаточно от школьника, чтобы он подчинился резкому приказу старшего, хотя он явно плохо контролировал себя. Конвей, хотя и сочувствовал ему, был больше озабочен неотложной проблемой пилота, поскольку именно он, единственный из них всех, мог бы дать какое-то объяснение их бедственному положению. У Конвея не было желания дальше обсуждать этот вопрос в чисто гипотетическом ключе; этого было достаточно во время путешествия. Теперь он испытывал беспокойство, выходящее за рамки его непрекращающегося интеллектуального любопытства, ибо осознавал, что вся ситуация перестала быть захватывающе опасной и грозила превратиться в испытание на выносливость, заканчивающееся катастрофой. Не спав всю ту ночь, мучительную от шторма, он тем не менее откровенно смотрел в глаза фактам, поскольку не стал утруждать себя тем, чтобы озвучивать их остальным.

Он догадывался, что их путь пролегал далеко за западный хребет Гималаев в сторону менее известных вершин Куэнлуна. В таком случае к настоящему моменту они уже должны были достичь самой высокой и самой негостеприимной части земной поверхности — Тибетского нагорья, высота которого составляет две мили даже в самых низких долинах, — обширного, необитаемого и в значительной мере неисследованного региона высокогорья, обдуваемого ветрами. Где-то там, в этой безлюдной стране, они оказались в гораздо менее комфортных условиях, чем на большинстве необитаемых островов. И тут внезапно, словно в ответ на его любопытство, только чтобы еще больше его разжечь, произошла довольно впечатляющая перемена. Луна, которую он считал скрытой за облаками, выплыла из-за края какой-то темной возвышенности и, хотя пока и не показывалась напрямую, осветила тьму впереди. Конвей смог разглядеть очертания длинной долины, по обеим сторонам которой расположились округлые, печально выглядящие невысокие холмы, черные как смоль на фоне глубокого электрически-синего ночного неба. Но его взгляд неотразимо притягивал конец долины, ибо там, возвышаясь в ущелье и великолепно сияя в полном блеске лунного света, предстала, как ему показалось, самая прекрасная гора на земле. Это был почти идеальный снежный конус, простой по очертаниям словно нарисованный ребенком, и его было невозможно оценить ни по размеру, ни по высоте, ни по удаленности. Она была настолько сияющей, настолько безмятежно уравновешенной, что он на мгновение засомневался, реальна ли она вообще. Затем, пока он смотрел, крошечное облачко затуманило край пирамиды, оживив это зрелище, прежде чем слабый гул лавины подтвердил его реальность.

У него возникло желание разбудить остальных, чтобы они тоже увидели это зрелище, но, подумав, он решил, что оно может не успокоить их. Да и с точки зрения здравого смысла это было не так: такое девственное великолепие лишь подчеркивало факты изоляции и опасности. Существовала вполне вероятность того, что ближайший населённый пункт находился за сотни миль отсюда. А у них не было еды; они были безоружны, за исключением одного револьвера; самолёт был повреждён и почти без топлива, даже если бы кто-то умел летать. У них не было одежды, подходящей для ужасающих холодов и ветров; автомобильное пальто Мэллинсона и его собственный ульстер были совершенно несоответствующими, и даже мисс Бринклоу, укутанная в шерсть и шарф, словно для полярной экспедиции (что показалось ему нелепым, когда он впервые её увидел), вряд ли могла чувствовать себя счастливой. Кроме того, все они, за исключением него самого, страдали от высоты. Даже Барнард под давлением обстоятельств впал в уныние.

Мэллинсон бормотал что-то про себя; было ясно, что с ним произойдет, если эти лишения продлятся слишком долго. Перед лицом столь мрачных перспектив Конвей обнаружил, что совершенно не в силах сдержать восхищенный взгляд, устремленный на мисс Бринклоу. Она, размышлял он, не была обычным человеком — ни одна женщина, которая учила афганцев петь гимны, не могла считаться таковой. Но, несмотря на все бедствия, она по-прежнему оставалась «нормально ненормальной», и он был ей за это глубоко благодарен. «Надеюсь, вы не чувствуете себя слишком плохо?» — сочувственно спросил он, когда их взгляды встретились.

«Солдаты во время войны вынуждены были переносить вещи похуже этого», — ответила она.

Конвею это сравнение не показалось особенно удачным. По сути, он никогда не проводил в окопах ночи, столь же совершенно неприятной, хотя, несомненно, многие другие проводили. Он сосредоточил своё внимание на пилоте, который теперь дышал прерывисто и временами слегка шевелился. Вероятно, Мэллинсон был прав, предположив, что этот человек — китаец. У него были типичные для монголов нос и скулы, несмотря на то, что ему удалось удачно выдать себя за британского летного лейтенанта. Мэллинсон назвал его уродливым, но Конвей, который жил в Китае, считал его вполне приличным экземпляром, хотя сейчас, в полированном круге пламени спички, его бледная кожа и раскрытый рот выглядели некрасиво.

Ночь тянулась, словно каждая минута была чем-то тяжёлым и осязаемым, что приходилось проталкивать, чтобы освободить место для следующей. Через некоторое время лунный свет поблек, а вместе с ним исчез и тот далёкий призрак горы; затем тройная угроза тьмы, холода и ветра усиливалась вплоть до рассвета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.